

Максим Орлов

Алая нить



Максим Орлов

Алая нить

<https://litres.ru/74222769>

SelfPub; 2026

Аннотация

В Луннисе судьбы людей сплетены из кровных нитей, а Орден Хранителей Узора веками оберегает мир от распада. Но когда Аскольд, видящий разрывы в самой ткани реальности, открывает страшную правду, Совет объявляет его угрозой и изгоняет за Завесу.

Элирия, Хранительница Ордена и женщина, связанная с ним запретной алой нитью, остаётся в Храме и узнаёт: равновесие держалось не мудростью, а жертвами. Детей с необычными дарами готовят к «очищению», древние печати питаются чужой кровью, а первая рана Лунниса скрыта под самим Храмом.

За Завесой Аскольда встречает Ворон — павший Хранитель, который платит памятью за каждую спасённую жизнь. Вместе им предстоит пройти Лабиринт теней, вернуться к правде и бросить вызов Ордену, Востоку, сжигающему связи ради свободы, и Западу, замораживающему боль ради покоя.

Чтобы спасти Луннис, героям придётся найти четвёртый путь — без жертвы, без цепей и без лжи.

Содержание

Пролог. Ритуал разрыва	4
Глава 1. Лабиринт теней	25
Глава 2. Трещина	47
Глава 3. Цена правды	69
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Алая нить

Пролог. Ритуал разрыва

«Когда нить рвётся — мир дрожит.

Когда узел ослабевает — судьба меняет путь».

<i>Из древнего свода Хранителей Узора</i>

Пролог. Ритуал разрыва



Голос Элирии

Луннис не рушился сразу: миры редко умирают с громом, чаще их гибель начинается почти незаметно — с потускневших родовых нитей, с детских снов о городах, которых никогда не было, с растерянных стариков, забывающих лица собственных сыновей, и с колодцев, где по ночам появляет-

ся лунный свет, хотя небо затянуто тучами. Новорождённые всё чаще приходили в мир с истончёнными кровь-нитеями, и их первый плач звучал так тихо, будто сама судьба не была уверена, стоит ли вплетать их в общий Узор.

Орден называл это естественным ослаблением. Совет Старших говорил о временном отклонении, которое можно исправить обрядами, печатями и терпением. Простые люди называли это бедой, хотя редко произносили это слово вслух, потому что в Луннисе даже страх имел нить, а за слишком громкий страх Орден умел наказывать.

Аскольд называл это правдой.

За правду его и изгнали.

Вечерние тени уже легли на плато, когда я вошла в Храм Узора, держа в руках древний гобелен моего наставника. У входа дымились бронзовые чаши с пеплом старых нитей; от них тянуло горькими травами, воском и едва заметным металлическим запахом крови, который Орден никогда не мог скрыть до конца. Над главным проходом медленно раскачивалось кадило, и тонкая струя дыма цеплялась за последние солнечные блики, прежде чем раствориться под сводами.

Серо-серебряное одеяние Хранительницы третьего круга плотно лежало на плечах и спадало к полу тяжёлыми складками; на поясе при каждом шаге тихо позванивали костяные иглы, малые печати и ножницы для тонких нитей. Волосы, тёмные и прямые, были убраны под узкую ленту служения, хотя несколько прядей выбились у висков, выдавая

усталость, которую я не успела скрыть перед учениками. Гобелен был тяжелее, чем казался: старая ткань тянула руки вниз, сухие края цеплялись за пальцы, словно не хотели снова приближаться к алтарю.

Мне было двадцать девять — слишком много для наивной веры в милосердие Совета и слишком мало для той холодной покорности, которую Орден называл мудростью. Я уже умела говорить ровно, когда внутри всё дрожало, но ещё не научилась смотреть на обречённых детей так, будто вижу только учеников.

На нижней галерее ещё сидели дети. Их малые ткацкие круги стояли полукругом вокруг чаши с тёплой золой, куда они сбрасывали испорченные нити. Костяные иглы поскрипывали по дереву, кто-то шептал подсказку соседу, кто-то тихо смеялся, но вся эта детская суета звучала приглушённо, будто сам Храм требовал говорить вполголоса.

Мира, самая младшая, была маленькой даже для своих восьми лет: круглолицая, темноглазая, с короткими прядями, которые постоянно выбивались из ученической повязки. Перед ней стоял глиняный бокал с остывшим травяным настоем; она забыла о нём, потому что пыталась поймать упрямую золотую нить всей ладонью, неловко и доверчиво, будто гладила живое существо.

Рядом с ней сидел Лиор. В одиннадцать лет он уже вытянулся слишком резко, стал угловатым, сутулым и молчаливым, как многие дети, которых дар настиг раньше, чем

они научились понимать собственный страх. Правую руку он прятал под рукавом, однако ткань не могла скрыть слабое голубое мерцание у запястья: его родовая нить потускнела после ночного разрыва у северной стены. Совет уже велел наблюдать за ним, хотя мальчик, конечно, не знал, что в записях Ордена напротив его имени появилась серебряная отметка.

Я знала.

Раньше я верила, что такие отметки означали защиту, потому что так нас учили с первого года служения. Теперь понимала, что Орден редко отмечал тех, кого собирался спасти; чаще он отмечал тех, кем был готов заплатить.

Мира подняла на меня сонные глаза и спросила:

— Наставница Элирия, нитям больно, когда их рвут?

Я не сразу ответила, потому что прежде этот вопрос казался бы мне детским, почти милым, а теперь прозвучал как предвестие. Дым от кадила першил в горле, воск где-то у алтаря капал на камень медленно и размеренно, словно Храм отсчитывал время до приговора.

— Больно тем, кто связан с ними.

— Значит, если никого не любить, больно не будет?

Дети тихо засмеялись, однако смех вышел неловким, испуганным, будто даже они почувствовали, что случайно коснулись чего-то запретного. Вчера я, наверное, улыбнулась бы и поправила Миру мягкой наставнической фразой. Сегодня не смогла.

— Тогда нить просто умрёт раньше человека, — сказала я.

Мира нахмурилась, словно пыталась понять, что страшнее, а я прошла дальше, к главному алтарю, где Аскольд сидел перед Узором и плёл так быстро, будто не создавал рисунок, а удерживал от распада саму ткань мира.

Ему было чуть больше тридцати, но дар уже оставил на лице раннюю усталость: резкие скулы казались острее, чем прежде, губы были искусаны до крови, а в серых глазах при каждом всплеске нитей проступал холодный серебряный отблеск. Тёмная одежда ткача сидела на нём неровно, один рукав был закатан выше локтя, защитные ленты на запястьях потемнели от старых ожогов. Он никогда не умел выглядеть покорным, даже когда молчал; возможно, именно это Совет считал его главной виной.

Серебряные, алые и тёмно-синие волокна скользили между его пальцами, вспыхивали, гасли и снова соединялись в сложный знак, который дрожал от напряжения, словно в нём было больше правды, чем мог выдержать камень. У алтаря пахло холодным мрамором, старой кровью и маслом для ламп; пламя в узких чашах отражалось в нитях, и от каждого движения Аскольда по стенам пробегали живые блики.

Я смотрела не на его руки.

Мой взгляд был прикован к узелку нитей, который он сжимал в кулаке, и сердце моё болезненно сжалось ещё до того, как разум успел признать причину. Я знала этот узел

и не должна была знать, потому что в нём, среди тёмных волокон Аскольда, была вплетена моя собственная алая нить — тонкая, почти незаметная прожилка, спрятанная так глубоко, что ни один Хранитель не отличил бы её от родовой связи.

Только я могла узнать её. Только он.

Мы сплели её сами, без алтаря, без свидетелей, без разрешения Совета, в ту ночь под западной аркой храма, когда ветер гасил лампы быстрее, чем мы успевали их зажигать. На его губе тогда была кровь: он прикусил её, пытаясь удержать очередное видение, и я коснулась этой крови прежде, чем вспомнила запрет. Его рука легла поверх моей, дыхание коснулось виска, а наши кровь-нити соединились так естественно и страшно, будто всегда искали друг друга под всеми законами, клятвами и печатями Ордена.

Никто из нас не произнёс обета. Обеты принадлежали Совету. Нам в тот миг было нужно не разрешение, а право быть выбранными не долгом, не страхом, не Узором, истолкованным чужими устами, а друг другом.

Тогда я называла это любовью.

Позже — слабостью.

Теперь понимала: это был наш первый общий грех.

Воздух вокруг алтаря внезапно замер, словно Луннис вдохнул и не смог выдохнуть. Каменные стены потемнели, лампы вытянулись тонкими дрожащими языками, кадило перестало качаться, а моя кровь-нить отозвалась такой бо-

лю, будто её рассекли изнутри. Дар пробудился без моего согласия, грубо и властно, как открытая рана, и мир перед глазами распался на тысячи переплетённых образов.

Я увидела восток Лунниса, где Пепельные княжества выжигали нити на запястьях новорождённых, чтобы судьба не нашла их по крови. Увидела запад, где в Стеклянных монастырях живые связи заключали в прозрачные узлы ради вечного покоя. Увидела нижние кварталы под плато, где бедным родам оставляли мёртвую пряжу, пока сильные нити забирали в Храм под видом служения.

Восток рвал нити ради свободы, запад сковывал их ради покоя, Орден прятал разрывы под белыми плащами и называл это равновесием.

Затем видение стало глубже, и я увидела трещину в самом сердце Лунниса: чёрный разлом посреди сияющего Узора, где судьбы не сходились, а падали в пустоту, обугливаясь на концах. Там исчезали не только жизни, но и смысл связей, память крови, сама возможность быть вплетённым в мир.

На каменном полу храма лежала одна такая нить, почти прозрачная, истончённая до предела, бледная, как дыхание умирающего. Она тихо дрожала в луже расплавленного воска, и от её слабого света тени вокруг алтаря казались глубже, чем были.

— Ты чувствуешь это? — прошептала я.

Аскольд поднял взгляд, и в его глазах не было удивления; там была только усталость человека, который слишком долго

видел то, во что остальные отказывались верить.

— Чувствую каждую.

Тогда я поняла, что Совет боялся не его дара и не нашей запретной связи, хотя одного этого хватило бы для приговора. Совет боялся свидетеля. Пока Аскольд оставался среди нас, Орден не мог притворяться, что мир цел, не мог называть распад временным отклонением, не мог прятать трещину за обрядами и успокаивать себя древними словами.

Свидетелей конца всегда изгоняли первыми.

К рассвету Совет уже знал о нашей связи, пусть не всю правду, а только след — алую прожилку в его узле, достаточно глубокую, чтобы обвинить его не только в угрозе Узору, но и в осквернении крови Хранительницы. Если бы я выступила против приговора, его не отправили бы за Завесу.

Его казнили бы на алтаре.

Я выбрала изгнание, потому что оно оставляло ему жизнь. Он увидел только предательство.

Ритуал разрыва

На закате серые плащи сомкнулись в круг у края плато, и изгнание началось не криком, не цепями, не ударом, а обрядом, от которого становилось страшнее именно потому, что каждый жест был отточен веками. Ткань плащей зашуршала почти одновременно, словно круг сделал один общий вдох. Ветер нёс от Завесы влажный холод; он оседал на ресницах, гасил слабые лампы у алтарного порога и заставлял пламя в бронзовых чашах пригибаться к камню.

Двое младших ткачей вынесли Чашу Размыкания. Камень её был тёмным, отполированным тысячами прикосновений, а по краям ещё темнели следы старой крови, которую не брали ни вода, ни соль. Когда чашу поставили на плиту, звук получился глухим и тяжёлым, будто в землю опустили крышку.

Хранительница Аурена вышла к алтарному порогу без спешки. Ей было за шестьдесят, но возраст не согнул её, а высушил, оставив в лице строгие линии, тонкие губы и глаза почти бесцветные, как зимнее небо перед снегом. Белый плащ Совета лежал на её плечах без единой складки, серебряная кайма ловила последний свет заката, а на длинных пальцах тускло блестели печати старших обрядов.

Когда Аурена говорила, голос её не повышался. Страшнее всего было то, что в нём не было ни злости, ни сомнения; так произносили не приговор человеку, а правило, давно записанное в камне.

Мне поручили держать узел свидетеля, что по закону считалось честью, а по правде было пыткой, потому что в моей ладони лежали нити Аскольда: ученическая, родовая, храмовая, а между ними — моя собственная алая прожилка, незаконная, живая, всё ещё горячая. Узел был тёплым и влажным, будто маленькое сердце, вырванное из груди, продолжало биться между моими пальцами.

Я сжала его крепче, пряча алый свет между пальцами.

Аскольд увидел это и не понял. В его глазах вспыхнула такая боль, что я едва не выронила нити, потому что для него

мои пальцы на узле были не спасением, а соучастием. Он решил, что я помогаю им рвать его связь с домом.

В каком-то смысле так и было.

Аурена подняла серебряный нож. Лезвие было узким, почти прозрачным, с выгравированными вдоль кромки молитвами о равновесии; в руке Хранительницы оно казалось не оружием, а продолжением обряда. Последний солнечный луч упал через разрыв в облаках и лёг на металл, заставив его вспыхнуть так ярко, будто сам свет согласился стать частью приговора.

— Аскольд из дома северной нити, названный учеником Храма, признанный видящим разрывы, Совет спрашивает тебя по древнему праву: что ты берёшь с собой за Завесу?

По обряду следовало ответить: вину. Так отвечали те, кто хотел умереть прощённым.

Аскольд посмотрел на серые плащи, на алтарь, на меня.

— Правду, — сказал он.

Среди Хранителей кто-то резко вдохнул. Где-то за моей спиной тихо звякнула печать на поясе старейшины, и этот малый звук прозвучал почти непристойно громко в общей неподвижности. Лицо Аурины стало почти прозрачным от гнева или страха.

— Тогда правда станет твоим наказанием.

Нож опустился, и первая нить лопнула с сухим, тонким звуком, похожим на треск волоса в пламени.

Аскольд не закричал, только сжал кулаки, словно мог

удержать дом одной силой боли. Аурена произнесла его имя трижды: после первого раза с храмовой дощечки исчез знак ученика, после второго потухла родовая метка, после третьего серые плащи отвернулись, признавая его ушедшим из Узора. Шелест их плащей прошёл по кругу, как волна, и в этом звуке было больше жестокости, чем в самом приговоре.

Так Орден превращал живого в отсутствующего.

Я чувствовала, как его нити рвались в моей ладони, и каждая оставляла ожог, унося то, что уже нельзя было вернуть: первый урок, первый смех у восточной стены, голос наставника, тепло ночного камня под западной аркой. Моя алая нить тоже дрогнула, и если бы она лопнула, Совет увидел бы всё, поэтому я удержала её так крепко, что ногти рассекли кожу.

Кровь выступила на ладони и впиталась в узел свидетеля. Запах железа перебил кадилльную горечь, и на миг мне показалось, что все слышали, как моя кровь падает внутрь обряда.

Наша связь не оборвалась.

Она спряталась глубже.

Аскольд не знал этого, когда сделал шаг к Завесе, где туман шевелился за краем плато, плотный и белый, похожий на бездну, научившуюся дышать. Никто не сказал ему «прощай». Я тоже промолчала, потому что любовь иногда выбирает молчание и потом всю жизнь платит за него кровью.

Голос Аскольда

Серые плащи окружали меня так плотно, что казалось, будто сам Орден сомкнулся в один безликий круг, где под капюшонами больше не было людей, только тени там, где должны были быть взгляды. От мокрой шерсти их одежд тянуло холодом, воском и человеческим страхом; кто-то дышал слишком часто, кто-то перебирал пальцами печати, кто-то стоял так неподвижно, будто неподвижность могла заменить милосердие.

Никто не произносил моего имени, кроме Хранительницы, никто не решался смотреть прямо, и лишь Элирия стояла рядом с алтарём, спокойная, бледная, с руками, сложенными на узле свидетеля.

Я чувствовал её раньше, чем видел, потому что с той ночи под западной аркой её нить жила во мне тонким горячим шрамом. Среди серых плащей она тянулась ко мне, дрожала, просила не смотреть, однако я всё равно посмотрел и увидел не женщину, которая когда-то выбрала меня вместо закона, а верную дочь Ордена, державшую мои нити в руках, пока меня объявляли угрозой.

Аурена произнесла приговор холодно, без ненависти, словно ненависть была бы слишком человеческим чувством для такого обряда.

— Судьба отвернулась от тебя, Аскольд. Твои связи с миром истончаются. Твой дар нарушает равновесие нашего дома. Совет постановил: ты должен покинуть пределы плато до рассвета. Если останешься — принесёшь гибель всем нам.

Я не опустил глаз, потому что видел их страх: они боялись не моей силы, не моего гнева и даже не того, что я нарушил древний порядок. Они боялись, что я прав.

Когда нож коснулся первой нити, боль поднялась изнутри не ударом, а медленным огнём, который прошёл под кожей, вдоль позвоночника, сквозь грудь, туда, где дом переставал быть домом. Одна за другой рвались связи: нить первого урока, нить имени, произнесённого наставником, нить камня у восточной стены, где я когда-то спал ребёнком, нить смеха, нить доверия.

Нить Элирии не лопнула.

Она только ушла глубже, туда, где боль становилась почти неотличимой от любви.

Я попытался вспомнить её голос — не тот, которым она отвечала Совету, а другой, ночной, сорванный, тот, каким она произнесла моё имя под западной аркой, когда наши кровь-нити впервые сплелись. Память была рядом, я чувствовал её форму, как чувствуют шрам под тканью, но звука больше не было.

Лабиринт ещё не забрал меня, а я уже терял самое живое.

Круг расступился, и я сделал шаг к Завесе. Камень под ногами был знакомым до боли, каждая трещина древних плит казалась частью меня, но чем ближе я подходил к краю, тем слабее становились нити, которые цеплялись за плато, за храм, за прошлое. Первая связь оборвалась у самой Завесы, и я едва не упал, потому что из меня словно вытянули кусок

памяти, оставив на его месте пустоту.

Туман сомкнулся вокруг меня мгновенно. Он не стелился по земле, а набрасывался всем телом, плотный и холодный, как живая воля мира, которому приказали забыть моё имя. Он пах мокрой шерстью, холодным пеплом и чем-то гнилым, похожим на воду, слишком долго простоявшую в закрытом сосуде. Влага осела на ресницах, забила под ворот, легла на губы солёной плёнкой.

Последний свет плато погас за спиной, серость поглотила камень, небо и голоса, а я уже не понимал, шёл ли вперёд или падал вниз. Где-то рядом шептали нити, но слов нельзя было разобрать: только обрывки имён, вздохи, чужие просьбы, давно потерявшие адресата.

Когда оборвалась последняя явная нить, я закричал, и крик утонул в тумане.

Тогда из мглы вышел человек.

Он был лет пятидесяти, высокий, сухой, с той неподвижностью, которая бывает не у слабых, а у тех, кто давно разучился тратить силы зря. Чёрный плащ висел на нём тяжёлыми складками, но под распахнутым воротом я успел заметить остатки белой ткани — старого хранительского одеяния, выцветшего, порванного и будто нарочно спрятанного под траурным чёрным.

Лицо его было худым, с впалыми щеками и резкой линией рта; в тёмных волосах серебрилась седина, а глаза горели золотистым огнём так спокойно, что от этого становилось

страшнее. Он чуть склонил голову набок, разглядывая меня не как спаситель и не как палач, а как человек, который заранее знал цену моей боли. На пальцах его не было перстней, только следы старых ожогов, а левая перчатка была распорота у запястья, словно ткань не выдержала того, что скрывала.

— Ты ещё держишься? — спросил он хриплым голосом.

Я попытался подняться, но ноги не слушались, а перед глазами плыли обрывки воспоминаний: храм, плато, белый нож, серые плащи, лицо Элирии.

— Кто ты? — прохрипел я.

Незнакомец усмехнулся.

— Называй меня Вороном. Я тот, кто знает цену каждой разорванной нити.

Он протянул руку, и на его запястье под чёрными нитями крови проступил выжженный знак Ордена — круг, рассечённый пополам. Я узнал этот знак, потому что так метили павших Хранителей.

— Ты был одним из них, — сказал я.

— Был.

— За что тебя изгнали?

Ворон посмотрел на своё запястье, будто видел знак впервые.

— За то, что слишком поздно понял разницу между долгом и преступлением.

— Совет оставил тебя жить?

Его усмешка стала тише.

— В этом и заключалось наказание.

Он снова протянул руку, и в тумане вспыхнули тонкие золотые волокна, вплетённые в его чёрные нити. Свет от них не рассеивал мглу, а лишь делал её глубже; золотые искры скользили по его пальцам, словно живые, и исчезали под кожей.

— Хочешь выжить — научись плести новые узоры из обломков старых. Возьми мою нить, если хочешь выбраться отсюда живым.

Я колебался недолго, потому что боль уже стала всем миром, а тьма сжималась вокруг так плотно, что ещё немного — и от меня не осталось бы даже имени. Я схватил его руку, его нити впились в мою ладонь и обожгли холодом забвения.

Мир перестал быть бездной.

Он стал лабиринтом теней, где каждая нить вела к новой судьбе.

Голос Ворона

Я ждал у края тумана так долго, что время перестало иметь форму и уже не текло, а оседало вокруг, как пепел. Здесь, внизу, день не сменял ночь, свет не побеждал тьму, память звучала глуше собственного дыхания, и всякий, кто падал за Завесу, сначала терял дорогу, потом голос, затем имя.

Туман никогда не был безмолвным. Он шептал краями оборванных нитей, шуршал по камню, втягивал в себя дыхание и возвращал его чужим эхом. Иногда в нём звенели

невидимые колокольчики, будто где-то далеко продолжался обряд, давно оставшийся без жрецов; иногда пахло мокрой золой, старой кожей, потухшими лампами и кровью, которую уже некому было смыть.

Когда-то я носил белый плащ и говорил тем же голосом, каким теперь говорил Совет. Тогда мои плечи ещё помнили тяжесть серебряной каймы, пальцы не дрожали над ритуальными узлами, а ученики поднимались при моём появлении так быстро, будто от моей воли зависел сам ход нитей. Я ставил печати на Завесе, учил молодых ткачей не бояться крови, держал Чашу Размыкания во время изгнаний и повторял древнюю ложь о том, что ради равновесия можно пожертвовать одним, если этим спасёшь многих.

Первой жертвой всегда был кто-то другой.

В этом и заключалась вся хитрость.

Позже чужое лицо начинало сниться, чужая кровь оставалась под ногтями после омовения, чужой крик звучал в тишине, пока Орден называл тебя верным. Однажды женщина взяла мою нить в ладонь, и весь Совет показался мне не опорой мира, а сборищем испуганных стариков, которые прятали жестокость за красивыми словами.

Я должен был выбрать её.

Я выбрал закон.

Её нить сожгли на алтаре, мою оставили жить, и с тех пор я ждал у края тумана, вытаскивая из пустоты тех, кто ещё мог держаться за жизнь. Каждому я давал нить, каждому по-

казывал путь, за каждого платил частью себя, пока из моего прошлого не начали исчезать запах дома после дождя, цвет неба в день первого посвящения, имя мальчика, который однажды назвал меня учителем.

Потом ушло больше.

Голоса. Лица. Клятвы.

Однажды я забыл, кого ненавидел. Позже — кого любил.

Крик Аскольда я слышал задолго до того, как увидел его силуэт, потому что этот звук нельзя спутать ни с ветром, ни с голосами мёртвых. Так звучит душа, когда у неё отнимают корни. Так рвутся связи, которые ещё хотят жить.

Он рухнул из тумана, словно выброшенный самим Лунисом, и связи вокруг него рвались так быстро, что воздух искрился от боли. Среди этих призрачных лоскутов я увидел одну алую нить — запретную, глубокую, живую, не похожую ни на родовую, ни на ученическую, ни на клятвенную. Она дрожала у самой кожи, пряталась под обломками других связей и всё равно светилась теплом, которое туман не сумел поглотить.

Такие нити не плели из милосердия.

Такие впускали в кровь только тогда, когда закон становился слабее желания.

Я понял, почему Совет не казнил его. Кто-то на плато спрятал эту связь, кто-то удержал её в миг разрыва, кто-то всё ещё любил изгнанника сильнее, чем боялся Ордена.

Наши руки соприкоснулись, и поток воспоминаний хлы-

нул между нами: его боль ударила в меня раскалённым железом, показала плато, храм, приговор, молчание толпы и Элирию в сером круге плащей. Я увидел западную арку, кровь на губе, две нити, входящие друг в друга без благословения, и ту страшную радость, которую Орден всегда называл преступлением, потому что не мог ею управлять.

Он тоже увидел мои тени.

Не все.

Достаточно.

Белый плащ. Серебряный нож. Женщину у алтаря. Мой выбор. Её крик. Выжженный знак на запястье. Кадило, которое продолжало качаться после казни, будто обряд ещё требовал дыма. Чашу с водой, в которой я пытался отмыть пальцы, хотя кровь уже ушла глубже кожи.

Одна из моих нитей ослабла и погасла почти нежно, как свеча под порывом ветра. Я мог удержать её, мог привязать к себе болью, волей или страхом, но не стал, потому что ещё одна часть меня могла стать платой за чужое дыхание.

В тот миг я снова почувствовал себя нужным Луннису.

Не стражем забвения, не тенью у края тумана, не павшим Хранителем, которому оставили жизнь вместо прощения, а тем, кто мог протянуть руку и не дать другому исчезнуть.

Аскольд поднял на меня глаза, и за болью в них горел огонь.

Огонь нужен тем, кто собирается пройти сквозь тьму.

Я крепче сжал его ладонь и потянул за собой, туда, где

туман становился гуще, а нити мёртвых судеб сплетались в дороги, по которым не ходили живые. Под ногами хрустели сухие волокна, где-то впереди глухо капала вода, хотя в Лабиринте не было ни рек, ни дождя, а из темноты тянуло холодом мест, которые мир предпочёл забыть.

Позади оставался разорванный дом, впереди ждал Лабиринт, а где-то далеко, в самом сердце Лунниса, первая трещина продолжала расти.

Узор дрожал.

Глава 1. Лабиринт теней

«В лабиринте нет стен — только нити».
<i>Из наставлений Хранителей Узора</i>

Глава 1. Лабиринт теней

«В лабиринте нет стен — только нити».



Голос Аскольда

Я пришёл в себя от холода.

Он лежал под кожей, в костях, в языке, в ладони, которой я схватил руку Ворона. Сначала мне показалось, что я всё ещё падаю сквозь Завесу, потому что вокруг не было ни неба, ни земли, ни привычного веса тела. Потом под пальцами проступил камень — шершавый, влажный, покрытый тонкими прожилками света, похожими на корни, вросшие в мёртвую породу.

Я открыл глаза.

Надо мной нависал свод грота. Камень там не был камнем до конца: стены, потолок и выступы сплетались из окаменевших нитей, старых узлов, высохших волокон и тёмных жил, внутри которых медленно двигалось голубоватое свечение. Свет исходил не от ламп и не от огня; он рождался в самих узлах, пульсировал неровно, будто каждое волокно помнило чужое сердце.

В гроте пахло мокрым камнем, холодным пеплом и чем-то сладковато-гнилым, похожим на цветы, слишком долго пролежавшие у гроба. Где-то за стеной капала вода, хотя я не видел ни ручья, ни трещины, откуда она могла течь. Каждый звук возвращался ко мне не эхом, а шёпотом, словно Лабиринт не повторял слова, а пытался вспомнить, кому они принадлежали.

Я пошевелился и едва не потерял сознание.

Ладонь горела холодной болью. Под кожей проступили

тонкие тёмные линии, сплетённые с золотистыми искрами: нити Ворона ещё не приняли мою кровь, но уже держали меня в мире. Защитные ленты на запястьях набухли от влаги, стали тяжёлыми и жёсткими, натирали старые ожоги.

— Не вставай резко, — сказал Ворон.

Он сидел у стены, почти сливаясь с темнотой. Чёрный плащ лежал вокруг него тяжёлыми складками, похожими на крылья, промокшие в тумане. Под распахнутым воротом виднелся край старого белого одеяния Хранителя, выцветшего до цвета кости. Ворон перебирал пальцами чёрный узел у запястья, и золотые искры то вспыхивали между его пальцами, то исчезали под кожей.

Голос его был низким, хриплым, без спешки. Так мог говорить человек, который давно привык к чужой боли и всё равно не перестал её слышать.

— Где мы? — спросил я.

Слова вышли с трудом. Во рту стоял вкус соли и крови.

— В Лабиринте теней.

Я попытался оглядеться, но стены дрогнули, и на миг грот стал другим местом: каменный зал, белый плащ, серебряный нож, женщина у алтаря. Чужой крик пронзил голову так резко, что я зажмурился.

Когда открыл глаза, Ворон уже стоял рядом.

— Чужие воспоминания будут цепляться за тебя, пока ты не научишься отличать их от своих, — произнёс он. — Первые часы хуже всего. Лабиринт проверяет, что у человека

можно забрать без сопротивления.

Я сел, прислонившись к стене, и почувствовал, как один из узлов за спиной шевельнулся под тканью рубахи. От этого прикосновения по позвоночнику прошёл ледяной ток.

— Что он уже забрал? — спросил я.

Ворон не ответил сразу. Его золотистые глаза внимательно смотрели на моё лицо, и в этом взгляде не было жалости. Только знание.

Я попытался вспомнить голос Элирии.

Не тот, которым она говорила перед Советом. Другой. Ночной. Сорванный. Тот, каким она произнесла моё имя под западной аркой, когда наши кровь-нити впервые сплелись. Я помнил её тёмные волосы у виска, запах храмового масла на коже, тепло её пальцев, кровь на моей губе, дрожание ламп от ветра.

Голоса не было.

На его месте оставался шёпот Лабиринта: чужие имена, чужие просьбы, чужое дыхание.

Я сжал зубы так сильно, что старая ранка на губе открылась снова.

— Он забрал её голос.

Ворон медленно опустился на корточки передо мной. Его лицо вблизи казалось ещё более измождённым: впалые щёки, резкая линия рта, седина в тёмных волосах, старые ожоги на пальцах. Возраст его трудно было понять. Лет пятьдесят, если судить по лицу. Намного больше, если смотреть в глаза.

— Лабиринт редко начинается с самого большого, — сказал он. — Он берёт малое, чтобы ты слишком поздно понял цену.

Я хотел ответить, но справа от меня один узел вспыхнул тёплым янтарным светом. В нём послышался женский голос, тихий и знакомый настолько, что сердце сорвалось с места.

— Аскольд...

Я повернулся прежде, чем успел подумать.

Ворон схватил меня за плечо, но поздно. Мои пальцы уже коснулись узла.

Грот исчез.

Передо мной возник алтарь, только не тот, у края плато. Этот был ниже, грубее, из чёрного камня, покрытого засохшей кровью. Кадило раскачивалось под сводами, и дым пах не травами, а горелыми волосами. На коленях перед алтарём стояла женщина в белом одеянии Хранительницы. Ей было около тридцати, может, чуть больше; светлые волосы выбились из-под ленты служения, губы были разбиты, руки связаны серебряной нитью.

На запястье у неё темнел выжженный знак Совета.

Круг, рассечённый пополам.

Перед ней стоял молодой Ворон.

Тогда он ещё не был Вороном. Плечи его держали белый плащ, лицо было строже и живее, без нынешней пустоты в глазах. В руке он держал серебряный нож и смотрел не на женщину, а на пол, будто камень мог дать ему приказ, кото-

рый легче исполнить.

— Скажи, что выбираешь меня, — прошептала женщина.

Её голос был хриплым, но в нём оставалась такая вера, что от неё становилось больно.

Молодой Хранитель молчал.

За его спиной стояли серые плащи. Кто-то шептал молитву о равновесии. Кто-то поправлял печать на пальце. Капля воска упала с лампы и разбилась о камень маленьким жёлтым пятном.

Женщина подняла голову.

— Не дай им назвать это долгом.

Нож дрогнул в его руке.

Видение оборвалось в тот миг, когда лезвие коснулось её нити.

Я упал на бок уже в гроте, задыхаясь, словно дым из чужого прошлого забил мне лёгкие. Из носа текла кровь. Под ногтями была чёрная пыль, хотя я не помнил, чтобы касался пола.

Ворон стоял надо мной неподвижно.

В его лице ничего не изменилось, только пальцы сжались на узле так крепко, что золотые искры погасли.

— Это была она? — спросил я.

— Не все мёртвые согласны оставаться мёртвыми, — произнёс он.

— Ты убил её.

Ворон посмотрел на стену, где янтарный узел теперь по-

чернел и слабо дымился.

— Я выбрал закон. В тот день это оказалось тем же самым.

Я поднялся на локте. Мир качался, стены дышали, чужая боль всё ещё стояла под рёбрами.

— Почему Лабиринт показал мне это?

— Потому что ты коснулся не памяти, а вины.

Ворон протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Я не взял её сразу.

— Первое правило, — сказал он спокойно, будто между нами только что не прошла чужая казнь. — Не касайся узлов, если не знаешь, чьи они. Второе: не верь голосам, которые называют тебя по имени. Третье: живая нить не всегда светлая, а тёмная не всегда мёртвая.

Я всё-таки ухватился за его руку.

— Сколько правил ещё?

Ворон потянул меня вверх.

— Ровно столько, сколько нужно, чтобы ты понял: здесь выживают не сильные. Здесь выживают те, кто умеет выбирать, какую боль считать своей.

Голос Элирии

Утро на плато было слишком ясным.

После ночи изгнания я ждала тумана, тяжёлых облаков, ветра, который бил бы в окна Храма и заставлял лампы чадить. Вместо этого солнце поднялось чистое и холодное, его свет лёг на каменные террасы тонкими золотыми полосами, зажёг серебряную кайму на плащах стражей и сделал кровь

на моей ладони почти чёрной.

Я спрятала руку в широкий рукав.

Повязка под тканью уже промокла, но боль помогала держаться. Она была простой, телесной, понятной, почти мило-сердной по сравнению с тем, что происходило внутри. Аскольд был жив. Я чувствовала его неясно, будто через толщу воды, но алая нить глубоко в крови дрожала и не ввалась.

Значит, изгнание не убило его.

Значит, моё молчание не стало казнью.

Эта мысль не принесла облегчения.

Зал Совета пах холодным воском, мокрым камнем и сухими травами, которые жгли в высоких кадилах перед каждым заседанием. Вдоль стен стояли бронзовые чаши с пеплом старых обрядов, на длинном столе лежали глиняные таблички, костяные дощечки, серебряные печати и тонкие ножи для размыкания малых узлов. У окна тихо шептались младшие писцы; их перья скребли по коже свитков, и этот звук казался мне хуже крика.

Совет Старших сидел полукругом.

Белые плащи были безупречны. Лица спокойны. Руки неподвижны.

Аурена стояла у центральной печати, высокая, сухая, с бесцветными глазами, в которых не отражался даже утренний свет. Она заметила мою спрятанную ладонь, но ничего не сказала.

— Разрывы не прекратились, — произнёс старейшина

Вайр, сухой человек с серебряными знаками на пальцах. Голос его шуршал, как старая ткань. — После изгнания видящего за северной стеной появились ещё три истончения. Два родовых круга потеряли связь с младшими детьми.

— Не называй его видящим, — сказала Аурена. — Совет признал его угрозой.

— Название не меняет следа, который он оставил.

Кто-то тихо кашлянул. Писец у окна замер с пером над свитком.

Я стояла у края стола и чувствовала, как ногти впиваются в ладонь под повязкой. Воск в ближайшей лампе потрескивал, выбрасывая мелкие искры. Одна упала на серебряную печать и тут же погасла.

— Ученики задают вопросы, — сказал другой старейшина. — Родители требуют объяснений. Нижние кварталы уже шепчут, что Орден изгнал не болезнь, а лекаря.

— Шёпот можно остановить, — ответила Аурена.

— Разрывы шёпотом не остановить, — произнесла я.

Все повернулись ко мне.

Мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидала. Только горло сжало так, будто дым кадила стал верёвкой.

Вайр медленно улыбнулся, не раскрывая губ.

— Элирия, скорбь после обряда понятна. Ты держала узел свидетеля, это всегда оставляет след.

— След оставила не скорбь.

— Тогда назови причину.

Я посмотрела на его руки. На серебряные знаки. На длинные пальцы, которые наверняка могли бы гладить ребёнка по голове так же спокойно, как размыкали его нить.

— Причина в том, что Аскольд был прав.

Тишина стала плотной.

За окном где-то на нижней террасе засмеялся ребёнок. Смех длился всего мгновение, но в зале он прозвучал почти кощунственно.

Аурена подняла руку.

— Мы собрались не для обсуждения изгнанника. Плато нуждается в очищении.

Вайр положил на стол костяную дощечку. Она была тонкой, отполированной до молочного блеска, с семью именами, выведенными серебряной тушью. Я увидела их прежде, чем он накрыл дощечку ладонью.

Мира.

Лиор.

Ещё пять учеников из младших кругов.

Мир на миг сузился до этих букв.

— Детские нити ещё не отягощены ложью, страхом и памятью, — сказал Вайр. — Их чистота способна закрыть малые разрывы и укрепить печати Завесы до следующего полнолуния.

Я слышала, как кто-то из писцов втянул воздух.

— Вы предлагаете убить детей, — сказала я.

— Я предлагаю вернуть их нити Узору до того, как распад

коснётся всех.

— Мира вчера спросила меня, больно ли нитям, когда их рвут.

Вайр не моргнул.

— Значит, она уже слышит то, что не должна.

Мне захотелось ударить его. Не словами, не властью, а рукой, прямо по этому сухому рту, произносящему смерть как наставление. Вместо этого я опустила взгляд и позволила плечам чуть поникнуть.

Совет должен был увидеть покорность.

— Никто не примет решения сегодня, — сказала Аурена.

— Обряд требует подготовки.

— Суток хватит, — ответил Вайр.

Суток.

Только сутки между Мирой и ножом.

Пока старейшины спорили о времени, фазе луны и порядке очищения, я медленно отступила к столу с печатями. Мой рукав скользнул по краю костяной дощечки. Пальцы сомкнулись на ней почти беззвучно. Сердце билось так громко, что мне казалось, каждый в зале слышал его лучше шороха свитков.

Вторая рука легла на центральную печать Совета.

Под повязкой рана открылась. Тёплая капля крови просочилась сквозь ткань, сорвалась с пальца и упала на серебряный знак. Печать дрогнула едва заметно, словно по металлу прошла тень.

Этого было недостаточно, чтобы разрушить обряд.

Достаточно, чтобы он не состоялся ночью.

Я спрятала дощечку в складках одеяния и подняла голову.

— Вы правы, Хранительница, — сказала я тихо. — Обряд требует подготовки.

Аурена смотрела на меня долго.

Слишком долго.

Потом перевела взгляд на печать, где моя кровь уже потемнела и исчезла между линий.

— Иди к ученикам, Элирия. До нового распоряжения занятия отменены.

Я поклонилась.

Ноги не дрожали, пока я шла к выходу. Дрожь пришла позже, в коридоре, где пахло каменной пылью, детским настоем и тёплой золой из учебной чаши. Я прижала украденную дощечку к груди и впервые за много лет поняла, что солгала Совету не словами.

Делом.

Голос Аскольда

Коридор памяти начинался узкой трещиной в стене грота.

Ворон вошёл первым, даже не оглянувшись, будто знал, что я пойду за ним. Его чёрный плащ почти не шуршал, хотя сухие волокна под ногами ломались с тихим хрустом. Я шёл следом, держась одной рукой за стену, но вскоре отдёрнул пальцы: каждый узел под кожей камня тянулся ко мне, как слепой рот, ищущий тепло.

Свет здесь был неровным. Одни нити сияли мягко, почти по-домашнему, другие вспыхивали резкими больными искрами, третьи казались чёрными провалами, где при долгом взгляде проступали лица. Воздух пах сыростью, старым воском и пылью истлевших тканей. Иногда из темноты доносился шёпот, похожий на урок в Храме: голоса повторяли правила, имена, молитвы, только слова путались и складывались в бессмыслицу.

— Смотри не глазами, — сказал Ворон. — Глаза здесь первыми начинают лгать.

— Чем смотреть?

— Тем, что болит.

Я усмехнулся, хотя губа снова кровоточила.

— Удобное учение. Ошибся — сам виноват.

Ворон остановился и повернулся ко мне. Золотистый свет из ближайшего узла лёг на его лицо снизу, подчеркнув впалые щёки и тёмные круги под глазами.

— В Ордене учили иначе. Там говорили: ошибся один — виноваты все, поэтому один должен заплатить за всех. Красиво звучит, пока платит кто-то другой.

— Ты часто так говорил?

— Достаточно часто, чтобы теперь помнить не все лица.

Мы вышли в широкий проход, где с потолка свисали нити, похожие на жилы. Они слегка покачивались, хотя ветра не было. Ворон снял порванную перчатку с левой руки. Под чёрными волокнами на запястье проступил выжженный знак

Ордена.

— Старший Хранитель третьего круга, — сказал он. — Печати Завесы, обряды размыкания, обучение видящих. Когда-то я сидел там, где сидит твоя Аурена, и верил, что порядок можно удержать, если вовремя отрезать всё опасное.

— Что изменилось?

Ворон провёл пальцем по выжженному кругу.

— Одна женщина взяла мою нить в ладонь. После этого все законы стали звучать иначе.

Я подумал об Элирии так резко, что алая нить в груди отозвалась болью.

Ворон заметил.

Его взгляд опустился к моей руке, затем к груди, будто он видел сквозь ткань и кожу.

— Она всё ещё в тебе.

Я замер.

— Не произноси её имени.

— Я его не произносил.

— Даже не думай.

Ворон чуть склонил голову набок. В этом жесте была усталость, но не насмешка.

— Ты защищаешь её, хотя считаешь, что она предала тебя.

Я шагнул к нему ближе.

— Ты ничего о ней не знаешь.

— Знаю достаточно. Такая нить не вплетается случайно.

Не родовая, не ученическая, не клятвенная. Живая, глубокая, спрятанная под разрывом. Она удержала тебя, когда Ордэн должен был стереть всё.

Слова ударили сильнее, чем я ожидал.

— Она держала узел свидетеля.

— Именно поэтому ты жив.

Я хотел возразить, но голос исчез. Перед глазами вспыхнула её ладонь на моих нитях, пальцы, сжатые до белизны, кровь, впитавшаяся в узел. Тогда я видел только предательство. Теперь в этом воспоминании появилась трещина, через которую проступал другой смысл.

— Если она спасла меня, почему молчала?

Ворон отвернулся к висящим нитям.

— Потому что иногда человек выбирает меньшее зло и слишком поздно понимает, что зло не становится меньше от выбора.

— Так ты оправдываешь её?

— Нет. Я предупреждаю тебя. Любовь не делает человека невиновным. Она только делает его вину глубже.

Мы двинулись дальше.

Через несколько шагов Ворон остановился у трёх нитей, свисавших с потолка почти до пола. Первая была янтарной, тёплой, от неё пахло хлебом, дымом и дождём. Вторая дрожала бледным серебром, словно боялась погаснуть. Третья была тёмной, почти чёрной, но внутри неё медленно вращалась золотая искра.

— Какая живая? — спросил Ворон.

Я посмотрел на янтарную.

В ней был дом. Не мой, но всё равно дом: очаг, мокрые ступени, рука на плече. После тумана и разрыва это тепло казалось спасением.

— Не глазами, — напомнил Ворон.

Я закрыл глаза.

Сначала слышал только собственное дыхание и капли воды где-то далеко. Потом услышал нити. Янтарная звала слишком сладко, как голос, который знает, чего тебе не хватает. Серебряная дрожала от страха, но в этом страхе было движение. Тёмная молчала, не мёртвая, а закрытая, как дверь, за которой кто-то удерживал дыхание.

— Серебряная, — сказал я.

— Почему?

— Она боится.

— Страх не всегда признак жизни.

— Мёртвые не боятся потерять себя.

Ворон впервые посмотрел почти одобрительно.

— Коснись её. Кончиками пальцев. Не впускай глубже запястья.

Я подчинился.

Память поднялась волной: мокрый камень, лестница, женская ладонь на перилах, далёкий звон, холодный свет наверху. Я удержал границу, как держат рану, чтобы кровь не вытекла сразу. Видение не поглотило меня. Оно прошло

сквозь пальцы и оставило направление.

— Она ведёт вверх, — сказал я.

— К плато?

— К тому, что осталось между тобой и плато.

В этот миг алая нить в груди дрогнула так резко, что я зашатался. Вместе с болью пришёл чужой страх. Не мой.

Элирия.

Я увидел зал Совета, белые плащи, костяную дощечку в её рукаве, семь имён серебряной тушью. Увидел маленькую Миру с глиняным бокалом у ткацкого круга. Увидел Лиора, прячущего светящееся запястье.

Затем видение исчезло.

Я схватился за серебряную нить.

— Они хотят принести детей в жертву.

Ворон помрачнел.

— Значит, Орден испугался сильнее, чем я думал.

— Мы идём вверх.

— Ты ещё не умеешь идти по таким нитям.

— Научусь по дороге.

— Дорога может съесть всё, что осталось от тебя.

Я посмотрел на него.

— Тогда лучше пусть останется меньше меня, чем меньше их.

Ворон долго молчал, слушая, как где-то в темноте шептали чужие узлы. Потом кивнул.

— Теперь ты начал выбирать.

Развилка

Лабиринт раскрылся перед нами внезапно.

Коридор оборвался в огромную подземную пустоту, где сходились сотни нитей. Они уходили вверх, вниз, в стороны, исчезали в расщелинах, снова появлялись из мрака, переплетались над бездной, как дороги, сотканные для тех, кто уже не принадлежал ни земле, ни небу. Некоторые пульсировали мягким светом, некоторые висели неподвижно, как удавки, некоторые шептали так громко, что слова складывались в гул.

В центре пустоты стоял каменный столб, оплетённый узлами. На нём были вырезаны имена. Многие стёрлись. Некоторые ещё кровоточили, и тёмные капли медленно сползали по камню, не падая вниз.

Снизу тянуло холодом и влажной пылью. Сверху доносился тонкий звон, похожий на серебряный нож, коснувшийся края чаши.

Ворон остановился у края.

— Нижняя нить ведёт в глубокие коридоры. Там меньше голосов, меньше приманок, больше времени. Ты сможешь восстановить силы.

Я смотрел вверх.

Там, среди сотен светящихся волокон, тянулась тонкая алая жила, почти скрытая под серебряным дрожанием. Она была натянута до предела, будто кто-то держал её, с другой стороны, окровавленными пальцами.

— Верхняя ведёт к Элирии.

— Или к тому, что хочет говорить её голосом.

— Я уже потерял её голос.

Ворон повернулся ко мне.

— Ты можешь потерять остальное.

— Дом уже отняли. Имя пытались стереть. Память рвётся по кускам. Теперь они хотят забрать детей и назвать это очищением. Сколько ещё нужно потерять, чтобы путь вниз стал разумным?

— Разумный путь редко совпадает с тем, который хочется выбрать.

— Твой разумный путь однажды привёл женщину к алтарю.

Ворон не вздрогнул. Только золотые искры в его нитях погасли на миг.

— Да.

Это короткое признание остановило мою злость сильнее любого ответа.

Он не спорил. Не оправдывался. Просто стоял рядом с бездной в чёрном плаще, под которым всё ещё прятался бывший белый, и смотрел на верхнюю нить так, будто снова видел алтарь, женщину, нож и собственное молчание.

— Выбирай осознанно, — сказал он. — Не ради мести. Не ради боли. Не ради того, чтобы доказать Совету свою правоту. Нить чувствует ложь быстрее человека.

Я закрыл глаза.

Серебряная нить вверх дрожала от страха, алая в ней горела стыдом и решимостью. Там была Элирия. Не вся. Не ясно. Только след: кровь на ладони, дощечка под рукавом, детские имена, вина, которая наконец стала поступком.

Я протянул руку.

На этот раз не ждал, пока боль заставит меня действовать. Не цеплялся за спасение. Не падал.

Я выбирал.

Пальцы легли на верхнюю нить.

Лабиринт вздрогнул.

Сотни узлов вспыхнули вокруг нас. Из каждого донёлся шёпот: чужие имена, мольбы, предостережения, обрывки молитв, детский плач, смех, звон ножа о чашу. Каменный столб треснул от основания до вершины, и кровоточащие имена на нём раскрылись, словно раны.

Верхняя нить натянулась.

Туман под нами закрутился в воронку.

Ворон схватил меня за плечо.

— Держи границу. Видишь только путь. Не смотри в стороны.

Я видел.

Плато.

Храм.

Семь имён.

Элирию, идущую по коридору с дощечкой у груди.

Миру, спящую над ткацким кругом.

Лиора, смотрящего на своё голубое запястье так, будто оно уже ему не принадлежало.

Затем всё сорвалось вверх.

Мы не шли по нити. Нить шла через нас, протаскивая кровь, память и дыхание сквозь узкое горло Лабиринта. Свет резал глаза. Воздух пахнул озоном, пеплом и свежеразрезанной тканью. Где-то рядом Ворон выругался глухо, почти беззвучно, и его рука сильнее сжала моё плечо.

Потом мир раскрылся.

Мы стояли не на плато.

Перед нами лежала Зона Трещины.

Каменная равнина тянулась до горизонта, но горизонт был сломан: небо там провисало рваными складками, будто кто-то разрезал его и плохо сшил обратно. Земля была покрыта тонкими светящимися разломами. В одних трещинах мерцали чужие воспоминания, в других шевелилась пустота. Обломки стен висели в воздухе без опоры, тени падали в разные стороны, а дальние башни то появлялись, то исчезали, словно Луннис не мог решить, существовали ли они когда-нибудь.

Ветер нёс запах грозы, крови и сухих трав из храмовых кадил.

Где-то далеко рвалась нить.

Звук был тонким, почти нежным.

От этого становилось страшнее.

Ворон медленно опустил руку.

— Вот что они скрывали, — сказал он.

Я смотрел на разломы и понимал, что изгнание, Совет, Завеса, Лабиринт были только краями беды. Сердце Лунниса уже треснуло, и трещина росла, пока Орден спорил о равновесии и готовил детей к ножу.

Алая нить в груди дрогнула снова.

Элирия была где-то там, за невозможным небом, среди белых плащей и украденных имён.

Я сжал ладонь, где всё ещё горел след Ворона.

— Тогда начнём отсюда.

Глава 2. Трещина

«Где нить рвётся — там мир кончается».
<i>Из хроник последних дней Лунниса</i>

Глава 2. Трещина

«Где нить рвётся — там мир кончается».
Из хроник последних дней Лунниса

Голос Аскольда

Зона Трещины не была местом в обычном смысле. Здесь все вывернуто наизнанку: каменная равнина тянулась до сломанного горизонта, небо провисало рваными складками, обломки стен висели в воздухе без опоры, тени падали в разные стороны. В трещинах мерцал бледный свет, и в нём всплывали лица, руки, города, слова.

Под западной аркой мы нашли алтари с засохшей кровью и детскими вещами. Совет не просто скрывал Трещину. Он кормил её жертвами.

Моё изгнание было их ширмой.

Но память древнего Совета открыла правду:

разрывы в Узоре растут веками, потому что одни решили, что жертва — цена порядка.

Алтарь предлагал силу в обмен на забвение.

Я отказался.

Теперь за правду придётся драться.

Голос Элирии

Семь имён на костяной дощечке.

Семь жизней, которые Совет уже отдал Трещине.

Я спрятала список и украла печать отсрочки,

чтобы спасти хоть кого-то.

Аурена идёт по моему следу.

Страх есть.

Но время стало моим оружием.

Голос Ворона

Трещина показывает то,

что мы принесли с собой.

Орден веками вырезал из Узора

всё, что не мог объяснить.

Связь Аскольда и Элирии — не ошибка,

а возможность удержать два края мира.

Но за любую силу платят.

Выбор боли определяет, кем ты станешь.



Голос Аскольда

Зона Трещины не была местом в обычном смысле.

Места имеют край, направление, память о том, чем были прежде. Здесь же всё казалось вывернутым наизнанку: каменная равнина тянулась до сломанного горизонта, небо провисало над ней рваными складками, будто его разрезали, а потом сшили чужими руками, не зная прежнего узора. Обломки стен висели в воздухе без опоры, медленно поворачиваясь вокруг невидимых осей; тени падали в разные стороны, словно каждый предмет принадлежал сразу нескольким солнцам, и ни одно из них не было настоящим.

Ветер шёл рывками. Он пах грозой, сухими травами из храмовых кадил, старой кровью и чем-то ещё — острым, пустым, похожим на запах ткани, только что разрезанной ножом. Под ногами камень был тёплым, хотя вокруг стоял холод. В трещинах между плитами мерцал бледный свет, и в этом свете иногда вспыхивали лица, руки, города, слова, не успевшие стать голосом.

Я сделал шаг и услышал, как где-то вдалеке рвётся нить.

Звук был тонким, почти нежным.

От этого становилось страшнее.

Ворон стоял рядом, опираясь ладонью на чёрный камень, который торчал из земли, похожий на осколок огромной иглы. Его плащ трепал ветер, открывая выцветшую белую ткань старого хранительского одеяния. Золотые искры в нитях на запястье горели неровно; каждая вспышка отражалась

в его глазах, и на миг казалось, что он смотрит не на равнину, а в собственное прошлое.

— Дыши ровнее, — сказал он.

— Здесь вообще можно дышать?

Горло саднило после перехода по верхней нити. На языке оставался вкус пепла и соли, ладонь, где его нити впились в мою кожу, горела холодным огнём.

— Можно, если не пытаться понять всё сразу.

— Поздно.

Ворон посмотрел на меня, чуть склонив голову набок. Этот жест уже начинал казаться частью его языка: так он оценивал рану, опасность, ложь, человека.

— Тогда хотя бы не смотри в разломы слишком долго. Они показывают не только то, что было.

— Будущее?

— Возможность. Иногда она опаснее памяти.

Мы пошли вперёд.

Каждый шаг требовал усилия, будто земля не хотела признавать мой вес. Иногда камень под ногой становился мягким, почти живым, затем снова твердел. Иногда равнина перед нами расширялась, открывая далёкие башни, а через мгновение сжималась до узкой тропы между светящимися разломами. Ворон выбирал путь не глазами; он шёл по едва заметным нитям, которые дрожали над землёй, словно следы дождя на паутине.

Слева висела половина арки. На ней сохранились резные

знаки Ордена: круг, нить, чаша, нож. Камень вокруг знаков почернел, будто его лизало пламя, хотя следов пожара не было. У подножия арки стояли три низких алтаря, сложенные из плоских плит. На каждой плите темнели бурые полосы.

Свежие.

Я остановился.

Кровь на камне пахла иначе, чем старая кровь в храмовых чашах. Там её перебивали травами, воском, солью, молитвами. Здесь она была открытой, сырой, ещё помнящей тепло тела. В трещинах между плитами лежали обрывки белой ткани, детская деревянная бусина, сломанная костяная игла и маленький глиняный бокал, расколотый пополам.

Такой же бокал стоял перед Мирой в учебной галерее.

Я присел и поднял его осколок. На глине ещё виднелась полоска синей краски — знак младшего круга учеников.

Пальцы сами сжались.

— Это место использовали для обрядов.

Ворон не стал спорить. Он подошёл к ближайшему алтарю и провёл пальцами над засохшей кровью, не касаясь её. Золотые искры в его нитях вспыхнули, затем потухли.

— Не один раз.

— Совет знал.

— Совет всегда знает больше, чем говорит.

— Они не просто скрывали Трещину.

Слова давались тяжело. Каждое словно царапало горло изнутри.

— Они кормили её.

Ворон медленно поднял взгляд.

— Осторожнее с такими выводами. Иногда правда, найденная слишком быстро, оказывается только верхним слоем лжи.

Я резко обернулся.

— Здесь кровь детей.

— Да.

— Здесь знаки Ордена.

— Да.

— Моё изгнание было прикрытием.

Ветер ударил в лицо, принёс шорох далёких голосов. На миг мне показалось, что среди них был смех Миры, сонный, тонкий, доверчивый. Затем звук распался на шёпот разломов.

— Пока все смотрели на меня, они готовили новый обряд,
— сказал я. — Изгнанник, угроза, болезнь Узора. Удобно. Люди боятся меня, Совет режет детей, потом объявляет, что равновесие восстановлено.

Ворон молчал.

От его молчания становилось хуже.

— Я помог им, — произнёс я.

— Тебя изгнали.

— Именно. Моё имя стало ширмой. Мой дар стал их оправданием. Моя правда дала им повод ускорить жертвы.

Я швырнул осколок бокала на камень. Он разбился ещё

мельче, и этот сухой звук прозвучал слишком громко на пустой равнине.

Ворон подошёл ближе.

— Вина любит привязываться к тем, кто ещё способен её чувствовать. Орден этим пользуется лучше любой магии.

— Не учи меня спокойствию.

— Я не учу спокойствию. Я учу различать вину и ответственность.

— Разница есть?

— Вина заставляет тебя опустить голову. Ответственность заставляет поднять нож против того, кто продолжает резать.

Я посмотрел на алтари.

На бурые полосы.

На детскую бусину у края плиты.

В груди дрогнула алая нить. Где-то далеко Элирия была жива, и её страх сейчас был не воспоминанием, а движением. Она что-то делала. Не думала. Не сожалела. Делала.

Эта мысль удержала меня от того, чтобы снова броситься в разломы без выбора.

— Покажи мне, куда ведут эти алтари, — сказал я.

Ворон нахмурился.

— Следы обрядов здесь не лежат на поверхности. Придётся касаться памяти крови.

— Значит, коснёмся.

— Ты уже едва стоишь.

— Тогда держи меня.

Он усмехнулся, но в усмешке не было веселья.

— Плохо просишь.

— Я не прошу.

Ворон посмотрел на алтарь, затем на мою ладонь, где под кожей всё ещё горели его чёрно-золотые нити.

— Тогда учись платить сразу, не торгуясь.

Голос Элирии

Моя комната в Храме всегда казалась мне тесной, хотя по меркам Ордена считалась почти роскошью: узкое окно с видом на восточные террасы, каменная полка для свитков, низкая кровать, медный таз для омовений и маленький стол, покрытый царапинами от костяных игл. В углу висело сухое кадило, давно погасшее, но ткань стен всё равно хранила запах горьких трав, воска и ночной сырости.

Я заперла дверь на внутренний крючок и только тогда позволила себе выдохнуть.

Украденная костяная дощечка лежала на столе. Семь имён серебрились на молочной поверхности так невинно, будто речь шла о порядке занятий, а не о смерти.

Мира.

Лиор.

Сазн.

Тири.

Ольд.

Нарин.

Веша.

Я провела пальцами над именами, не касаясь их. Серебряная тушь ещё не высохла до конца; значит, список составили ночью, вскоре после изгнания Аскольда. Совет не расстрелялся. Совет не скорбел. Совет работал.

Повязка на ладони потемнела от крови. Я сняла её зубами, потому что пальцы дрожали слишком сильно, и боль сразу стала ярче. Рана была неглубокой, но края разошлись от того, как я удерживала узел свидетеля. В красной линии на коже пульсировала алая нить, уходящая глубже, туда, где всё ещё жил Аскольд.

Я коснулась её большим пальцем.

— Прости, — прошептала я.

Ответа не было.

Только слабый жар под кожей.

За дверью прошли двое учеников. Их шаги были быстрыми, сбивчивыми; кто-то шепнул: «Занятия отменили», другой ответил: «Мира плакала». Потом голоса удалились, а я осталась стоять над дощечкой, чувствуя, как страх превращается во что-то более твёрдое.

Сожаление было бесполезно.

Время стало оружием.

Я спрятала дощечку в полый ножке стола. Это тайное место сделал ещё мой наставник; когда-то он прятал там запрещённые записи о восточных узлах, смеялся и говорил, что у каждого верного Хранителя должен быть один ящик для

неверности. Тогда мне казалось, что это шутка.

Теперь эта шутка могла стоить жизни семерым детям.

Я вышла в коридор.

Храм после решения Совета изменился, хотя внешне всё оставалось прежним: лампы горели в нишах, кадила дымилась у лестниц, младшие ткачи несли корзины с чистыми нитями, писцы переходили из зала в зал со свитками под мышкой. Только шёпот стал гуще. Люди замолкали, когда я проходила мимо, затем снова начинали говорить вполголоса.

У учебной галереи пахло тёплой золой и травяным настоем. Чаша для испорченных нитей ещё дымилась, хотя занятий больше не было. Мира сидела на скамье у окна, болтая ногами и прижимая к груди куклу из обрезков ткани. Её ученическая повязка съехала набок, короткие пряди торчали у висков, а глаза были красными.

— Наставница Элирия! — Она вскочила, едва не уронив куклу. — Сказали, занятий не будет. Я плохо сплела утренний узел?

Я присела перед ней, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Восьмилетний ребёнок не должен был видеть страха на лице взрослого, но мне пришлось сдерживать себя усилием, от которого заболели скулы.

— Ты всё сделала хорошо.

— Тогда почему Лиора увели к старшим?

В груди что-то сжалось.

— Кто увёл?

— Двое в белых плащах. Сказали, нужно проверить его руку. Он не хотел идти. Он всё время смотрел на меня, будто я должна была что-то сказать.

Мира опустила глаза на свою куклу и стала теревить нитку на её платье.

— Я ничего не сказала.

Я взяла её маленькие ладони в свои. Пальцы у неё были тёплые, липкие от травяного настоя и золы. На левом запястье едва мерцала тонкая золотая нить, ещё чистая, ещё доверчивая.

— Слушай меня внимательно, Мира. Если сегодня вечером к тебе придут старшие и скажут, что нужно идти на очищение, ты должна заболеть.

Она нахмурилась.

— Нарочно?

— Да.

— Это ложь.

— Сегодня ложь может спасти тебе жизнь.

Мира смотрела на меня так серьёзно, как умеют смотреть только дети, когда взрослые наконец говорят с ними не как с детьми.

— Нитям больно, когда они лгут?

— Иногда им больнее от правды, которую никто не защищает.

Она не поняла всего. Конечно, не поняла. В восемь лет нельзя понять Совет, жертвоприношение, страх власти и це-

ну крови. Она поняла только то, что я сжала её руки слишком крепко.

— Мне бояться? — спросила она.

Я хотела сказать «нет».

Не смогла.

— Мне тоже страшно.

Мира вдруг обняла меня за шею. Быстро, неловко, доверчиво. От неё пахло настоем, золой и детской кожей. Я закрыла глаза на одно мгновение и позволила себе эту слабость.

Потом отстранилась.

— Возьми куклу и иди в западную кладовую. Спрячься за сундуками с зимними плащами. Если кто-то спросит, я отправила тебя за серой пряжей.

— А Лиор?

— Я найду его.

Мира кивнула, хотя губы её задрожали. Она побежала по коридору, прижимая куклу к груди, и её маленькие шаги растворились среди каменных стен.

Я поднялась.

Следующим местом было хранилище печатей.

Туда не входили без разрешения Аурены. Дверь охраняли двое стражей в серых плащах, а сама комната была заперта на три узла: серебряный, костяной и кровный. В молодости я помогала наставнику переписывать старые печати и знала, что у каждой двери есть не только замок, но и привычка. Двери, как люди, верят повторению.

У хранилища пахло холодным металлом и полированным деревом. Стражи стояли по обе стороны арки, копья их были украшены белыми лентами Совета. Один из них, молодой, с веснушками и слишком большим шлемом, попытался выпрямиться при моём приближении.

— Хранительница Элирия, вход закрыт по распоряжению Совета.

Я вынула из рукава малую табличку занятий.

— Мне нужна печать отмены для младших кругов. Приказ Аулены: дети не должны собираться в галереях до проверки нитей.

Страж переглянулся со вторым.

— Нам не передавали.

— Писцы отстают на полчаса. Разрывы за северной стеной нарушили порядок записей.

Это было правдой. Не вся правда, но достаточно похожая на неё, чтобы прозвучать убедительно.

Молодой страж всё ещё колебался. Я наклонилась чуть ближе, позволяя серебряной кайме своего одеяния поймать свет лампы.

— Твоё имя?

— Эрен, Хранительница.

— Эрен, если дети снова соберутся без печати отмены, отвечать будешь ты. Перед Ауленой.

Он побледнел.

Второй страж провёл ладонью по костяному замку, и

дверь открылась с тихим стоном, словно проснулась против воли.

Внутри было холоднее, чем в коридоре. На полках лежали печати Совета: круглые, овальные, тонкие, тяжёлые, из серебра, кости, чёрного камня. Каждая была завернута в серую ткань, каждая пахла металлом, солью и старой кровью. В глубине комнаты горела одна синяя лампа, и её свет заставлял тени печатей двигаться по стенам, будто там висели чужие руки.

Мне нужна была не малая печать занятий.

Мне нужна была печать отсрочки обряда.

Она лежала в третьем ряду, в шкатулке из тёмного дерева, под тонким слоем соли. Я знала её форму: круг с разомкнутой нитью, знак временного запрета на ритуальное действие.

Пальцы коснулись шкатулки.

Соль обожгла рану на ладони.

Я почти вскрикнула, но прикусила губу. Кровь выступила на языке, и этот вкус почему-то сразу напомнил Аскольда под западной аркой.

Я взяла печать.

В тот же миг за дверью послышались шаги.

Медленные.

Ровные.

Аурена.

Голос Ворона

Зона Трещины всегда показывала людям то, что они при-

носили с собой.

Аскольд принёс изгнание, любовь, злость и боль, поэтому равнина отвечала ему алтарями, детскими именами и обрывками плато. Мне она показывала другое: старые печати, лица мёртвых, белые плащи, которые я когда-то носил, и разрезы в Узоре, оставленные руками тех, кто считал себя лекарями мира.

Мы стояли перед одним из алтарей. Аскольд положил ладонь на край камня, хотя я велел не касаться крови напрямую. Упрямство в нём было не юношеским, не гордым, а раненым; так держатся люди, которые уже потеряли слишком многое и боятся, что осторожность станет ещё одной формой предательства.

— Тише, — сказал я. — Память крови не любит, когда её берут силой.

— Кровь детей любила ножи Совета?

Он был зол. Хорошо. Злость иногда держит лучше надежды, если не дать ей ослепнуть.

Я положил свою ладонь поверх его руки. Кожа у него была горячее, под ней рвано билась алая нить Элирии. Запретная связь жила глубже, чем я думал. Не просто страсть, не только грех, не случайное нарушение храмового закона. В ней было то, чего Орден всегда боялся больше разрывов: свободный выбор, сделанный без свидетелей и печатей.

— Слушай, — произнёс я. — Трещина началась не вчера и не из-за тебя.

Камень под нашими ладонями дрогнул.

Память открылась.

Я увидел не один обряд, а множество. Белые плащи вокруг алтарей. Серебряные ножи. Чаши с солью. Детские волосы на камне. Стариков, добровольно отдающих последние нити за право их родов получить место в верхних кварталах. Женщин, у которых забирали новорождённых с сильным даром. Мужчин из нижних террас, чьи родовые связи размыкали за долги перед Храмом.

Каждый обряд был малым.

Каждый называли необходимым.

Каждый оставлял в Луннисе тонкую трещину.

— Орден веками вырезал из Узора всё, что не мог объяснить, — сказал я. — Сначала опасных видящих. Потом свободные связи. Потом детей с неправильным даром. Потом бедные роды, которые не могли заплатить за восстановление нитей. Каждое размыкание казалось маленьким. Каждая жертва спасала день, месяц, год. Так они привыкли считать отсрочку спасением.

Аскольд дышал тяжело.

— Значит, мир рушится из-за них.

— Из-за них. Из-за тех, кто молчал. Из-за тех, кто выбирал закон вместо человека. Из-за меня тоже.

Память камня усилилась. Перед глазами возник древний зал Совета, не тот, который знал Аскольд, а прежний: стены ниже, плащи грубее, лица моложе, вера жестче. Старейшины

стояли над первой картой разрывов. На карте Луннис был ещё почти цел, только несколько тонких чёрных линий пересекали восточные земли и край западных монастырей.

Один из старейшин сказал:

— Если мы признаем, что Узор рвётся сам, Орден теряет власть.

Другой ответил:

— Тогда мы скажем, что рвутся виновные.

Третий положил ладонь на список детских имён.

— Чистые нити затянут малые раны. Главное — не дать людям увидеть саму болезнь.

Аскольд резко втянул воздух.

— Это было когда?

— Очень давно.

— До Аурены?

— До многих Аурен. Совет менял лица, но не привычку.

Видение дрогнуло. В центре древнего зала появилась чаша, наполненная светлыми нитями. Слишком светлыми. Слишком маленькими. Над чашей висела первая большая печать Завесы.

Тогда я понял то, что не хотел понимать веками: Завеса не только защищала плато от распада. Она скрывала от плато цену защиты.

Алая нить в груди Аскольда вспыхнула.

Память отозвалась на неё неожиданно: в древнем зале, среди белых плащей и детских имён, на мгновение появи-

лась другая линия — красная, живая, не подчинённая карте. Она прошла поперёк разрывов и не закрыла их, но связала края так, что трещина перестала расти.

Я видел такие нити прежде. Очень редко. Орден называл их осквернением, потому что они возникали без разрешения и не подчинялись печатям. На деле свободная кровь-связь могла делать то, чего не умели ритуалы: не замазывать рану жертвой, а удерживать два края мира в живом напряжении.

— Ваша связь с Элирией не ошибка, — сказал я.

Аскольд повернул ко мне лицо. Глаза его стали почти серебряными.

— Тогда что это?

— Возможность.

— Совет назвал бы это преступлением.

— Совет называл преступлением всё, что не мог контролировать.

Память крови потянулась глубже. Я почувствовал, как алтарь предлагает силу: взять боль прежних жертв, сжать её в узел, ударить по ближайшей печати Ордена, открыть путь к плато быстрее. Цена была ясна. Память древнего Совета исчезла бы. Правда сгорела бы, став оружием.

Аскольд тоже это почувствовал.

Его пальцы сжались на камне.

— Мы можем использовать это.

— Можем.

— Сила откроет дорогу?

— Часть дороги.

— Цена?

— Ты забудешь то, что сейчас увидел. Древний Совет. Первую ложь. Имена тех, кто решил кормить Трещину. Вместо правды останется удар.

Он молчал.

Ветер прошёл над равниной, и висящие в воздухе обломки стен тихо зазвенели, как чаши после обряда. Где-то далеко снова рвалась нить. Звук был тонким, детским.

Я видел, как в нём боролись две боли: желание действовать сразу и страх снова стать человеком, у которого отнимают память. Орден всегда побеждал тех, кто спешил обменять правду на силу. Я сам однажды сделал это, только называл иначе.

— Решай, — сказал я. — Лабиринт учил тебя выбирать боль. Трещина учит выбирать цену.

Голос Аскольда

Память древнего Совета стояла передо мной, как открытая рана.

Я видел лица людей, давно ставших пылью. Видел их спокойные руки, белые плащи, чашу с детскими нитями, карту Лунниса с первыми чёрными линиями. Слышал, как они говорили о власти мягче, чем о милосердии, и о жертвах ровнее, чем о погоде. Их голоса не были голосами чудовищ. В этом заключался ужас.

Они верили, что спасают мир.

Именно поэтому мир не смог от них защититься.

Камень под ладонью предлагал силу. Я чувствовал её ясно: если позволить памяти сгореть, она станет ударом, способным разорвать одну из печатей Завесы, открыть короткий путь к плато, приблизить меня к Элирии, Мире, Лиору. Сила была горячей, почти сладкой. Она обещала действие вместо беспомощности.

Память Элирии под западной аркой уже потеряла голос.

Голос наставника тоже расплывался.

Если я отдам ещё и это, что останется от меня к тому часу, когда я доберусь до Ордена?

Рядом стоял Ворон. Его лицо было неподвижным, но я видел, как пальцы медленно перебирают чёрную нить у запястья. Он уже знал этот выбор. Знал слишком хорошо.

— Ты бы взял силу? — спросил я.

— Раньше взял бы.

— Теперь?

— Теперь я слишком много забыл, чтобы снова платить правдой.

Я посмотрел на древний Совет.

Один из старейшин держал список имён. Серебряная тушь блестела так же, как на дощечке Элирии. Линия тянулась через века: тогда семь имён, теперь семь имён, завтра новые семь, пока в Луннисе не останется детей, которых можно назвать чистыми.

Если я сожгу эту память ради силы, Орден снова победит.

Потому что преступление, забытое ради победы, становится удобным для следующего преступника.

Я убрал руку с алтаря.

Сила отступила не сразу. Она цеплялась за пальцы, обжигала ногти, пыталась войти под кожу, обещая путь, удар, спасение. Я сжал кулак и удержал память внутри, не давая ей превратиться в оружие.

Боль накрыла меня волной.

Я упал на одно колено. Перед глазами вспыхнули древний зал, чаша с детскими нитями, лицо Элирии, Мира у окна, Ворон с серебряным ножом, Аурена у алтаря. Всё это осталось во мне, не слившись, не сгорев, не исчезнув.

Я выбрал помнить.

Ворон опустил руку мне на плечо. Его пальцы были холодными, но хватка твёрдой.

— Хорошо.

— Хорошо? — Я выдохнул почти со смехом. — Мы потеряли быстрый путь.

— Зато Орден потерял право на забвение.

Над равниной прошёл гул.

Алтари перед нами треснули. Не разрушились, не рассыпались, только дали тонкие светлые линии, похожие на первые шрамы после заживления. Из трещин поднялись слабые голоса. Не крики. Не мольбы. Имена.

Те, кого приносили здесь в жертву, называли себя сами.

Я слушал, пока мог. Каждое имя ложилось в память тяжё-

лым камнем. Каждое становилось частью правды, которую уже нельзя было обменять на силу.

Алая нить в груди вспыхнула так ярко, что я согнулся.

На миг я увидел Элирию в хранилище печатей. Синяя лампа. Полки с серебром и костью. Печать отсрочки в её окровавленной руке. За дверью — шаги Аулены.

Видение оборвалось.

Я поднял голову.

— Она в опасности.

Ворон посмотрел на сломанный горизонт, где небо провисало над светящимися разломами.

— Теперь все в опасности.

— Нужно вернуться.

— Нужно найти путь, который не потребует от тебя забыть, зачем ты идёшь.

Слова были верными. Ненавистно верными.

Я поднялся, хотя ноги дрожали. Ветер бил в лицо, нес запах крови, озона и кадильной горечи. Где-то под землёй шевелилась Трещина, огромная, живая, терпеливая. Она больше не казалась пустотой. Она была следствием. Раной, которую веками расширяли те, кто называл себя лекарями.

Я посмотрел на Ворона.

— Тогда ищем другой путь.

Он кивнул.

— Теперь ты говоришь как человек, который не только хочет победить.

— А как кто?

Ворон впервые за всё время улыбнулся почти по-настоящему. Улыбка вышла короткой, усталой, похожей на трещину в камне, через которую всё-таки пробился свет.

— Как тот, кто хочет, чтобы после победы осталось что спасти.

Над нами небо снова дрогнуло.

Вдалеке, среди разломов, поднялась тёмная фигура. Потом вторая. Потом третья. Они стояли у края разрушенной арки, неподвижные, в белых плащах, которые не трепал ветер.

Печати Ордена на их лицах светились мёртвым серебром. Ворон медленно выпрямился.

— Стражи очищения, — сказал он. — Значит, Совет почувствовал, что кто-то коснулся памяти.

Я сжал кулаки.

— Они живые?

— Уже нет. Этим они удобнее живых.

Стражи повернули головы одновременно.

Сломанное небо над ними вспыхнуло.

Алая нить в груди дрогнула, словно Элирия тоже почувствовала приближение беды.

Я сделал шаг вперёд.

Правда осталась со мной.

Теперь за неё придётся драться.

Глава 3. Цена правды

«Когда нить рвётся — мир кончается».
Из хроник последних дней Лунниса



Голос Элирии

Шаги Аулены остановились за дверью хранилища.

Я стояла среди печатей Совета, держа в окровавленной руке знак отсрочки обряда, и впервые за долгие годы слышала собственное сердце громче храмовых колоколов. Синяя лампа под потолком горела ровно, почти безжизненно; её холодный свет ложился на полки с серебром, костью и чёрным камнем, заставляя печати казаться не вещами, а спящими глазами. В воздухе пахло солью, металлом, старой кровью и той сухой пылью, что оседает в местах, куда редко входят без разрешения.

Дверь открылась без скрипа.

Аулена вошла одна.

Белый плащ Совета лежал на её плечах без единой складки, серебряная кайма улавливала синий свет лампы, а бесцветные глаза смотрели на меня так спокойно, будто она застала не преступление, а ошибку в ученической записи. За её спиной в коридоре горели жёлтые лампы, слышался далёкий шёпот стражей, тонкий звон чьей-то печати на поясе, приглушённый кашель писца. Храм жил, дышал, продолжал свои малые дела, пока в моей ладони лежала отсрочка для семерых детей.

Аулена перевела взгляд на мою руку.

— Ты выбрала опасный час для непослушания, Элирия.

Голос её был тихим, сухим, без гнева. Именно это делало его страшнее крика.

Я сжала печать сильнее. Соль, оставшаяся на металле, въелась в рану, и боль поднялась до локтя горячей волной. Мне захотелось спрятать руку, как провинившейся ученице, однако пальцы не разжались.

— Опасный час выбрал Совет, когда решил назвать убийство очищением.

На лице Аулены не дрогнула ни одна черта. Ей было за шестьдесят, но возраст не сделал её слабой; он словно выжег из неё всё лишнее, оставив тонкие губы, строгий овал лица, сухие длинные пальцы и неподвижность человека, привыкшего быть законом.

— Ты говоришь словами изгнанника.

— Я говорю словами человека, который видел список.

— Список был закрыт печатью Совета.

— Семь имён не становятся менее детскими оттого, что написаны серебряной тушью.

Аурена сделала несколько шагов вглубь хранилища. Подол её белого плаща едва слышно прошелестел по камню. Она остановилась у полки с малыми печатями размыкания и провела пальцем по серой ткани, которой были укрыты ритуальные знаки. Этот жест был почти ласковым, будто она касалась не орудий власти, а старых друзей.

— Ты молода, Элирия. Тебе кажется, что жестокость начинается там, где появляется кровь. На деле жестокость начинается раньше — в миг, когда человек видит гибель многих и всё равно выбирает спасти одного.

Я почувствовала, как алая нить глубоко в груди дрогнула. Аскольд.

Не голос. Не слово. Только движение в крови, далёкое, болезненное, живое.

— Так вы оправдываете себя?

— Так мы выжили.

— Кто «мы»? Орден? Совет? Верхние террасы? Те, чьи дети никогда не попадают в списки очищения?

Впервые взгляд Аурены стал чуть холоднее.

— Осторожнее.

— Я слишком долго была осторожной.

Слова сорвались раньше, чем я успела укротить их, но вместе с ними пришло странное облегчение. В комнате стало тесно от запаха соли и металла, от синего света, от сотен печатей, лежащих на полках, словно немые свидетели. Я увидела себя со стороны: двадцать девять лет, серо-серебряное одеяние Хранительницы третьего круга, тёмные волосы, выбившиеся из-под ленты служения, окровавленная ладонь, украденная печать. Совсем не героиня. Не мятежница из древних песен.

Женщина, которая слишком поздно перестала молчать.

— Вы знали о Трещине, — сказала я. — Знали не год и не десять лет. Вы закрывали её жертвами, размыканиями, изгнаниями, детскими нитями, украденными у нижних родов. Когда Аскольд увидел правду, вы назвали его угрозой. Когда его изгнание не помогло, вы решили принести детей.

— Трещина не ждёт, пока ты научишься принимать тяжёлые решения.

— Это не тяжёлые решения. Это удобные преступления. Аурена резко подняла руку.

Печати на её пальцах вспыхнули холодным белым светом. Дверь хранилища за её спиной закрылась сама собой, и звук удара дерева о камень прошёл по комнате, как последний знак обряда. На полках дрогнули серебряные круги, костяные пластины, чёрные знаки размыкания. Воздух стал плотнее. Дышать стало труднее.

— За кражу печати Совета полагается лишение круга, — произнесла Аурена. — За повреждение центральной печати кровью — изгнание. За связь с изгнанником, если она будет доказана, — сожжение нити на алтаре.

Я молчала.

Теперь она произнесла это вслух.

Не намёк. Не угроза. Закон.

— Отдай печать, — сказала Аурена. — Назови имена тех, кому успела сообщить о списке. Покайся перед Советом, и, возможно, я сохраню тебе жизнь.

— Как сохранили жизнь Ворону?

Лицо Аулены изменилось едва заметно, но я увидела. Тонкие губы сжались, глаза стали ещё светлее.

— Это имя не произносят в Храме.

— Значит, он всё ещё пугает вас.

— Павшие пугают только тех, кто не понимает цены па-

дения.

— Он понял цену раньше вас.

Аурена шагнула ко мне.

Белый свет печатей коснулся моей руки. Печать отсрочки в ладони нагрелась так резко, что кожа зашипела. Я едва не выронила её, но удержала. Боль стала острой, ясной, почти чистой.

— Последний раз, Элирия. Отдай.

Я подняла окровавленную ладонь.

— Нет.

Аурена протянула руку к моей груди, туда, где под тканью дрожала алая связь. Старшие печати на её пальцах раскрылись тонкими белыми линиями, и я почувствовала, как они ищут нить Аскольда, пытаются подцепить её, вытянуть наружу, назвать, заклеить, разорвать.

Страх ударил так сильно, что колени едва не подогнулись.

Если Аурена увидит всё, Аскольд станет не изгнанником, а осквернителем крови. Его будут искать не для суда, а для уничтожения. Меня сожгут на алтаре или отправят за Завесу с перерезанной нитью.

Алая связь вспыхнула.

Не от боли.

От ответа.

Где-то далеко Аскольд был жив, слаб, ранен, окружён Трещиной, но его нить не отступила. Она не спряталась от печати Совета, не дрогнула перед белым светом, не позволила

чужой воле назвать себя преступлением.

Я сделала то, чего не решилась сделать в ночь изгнания.

Я раскрыла связь сама.

Алая нить вышла из-под кожи тонкой огненной линией, прошла по запястью, обвила украденную печать и поднялась между мной и Ауреной, освещая хранилище живым красным светом. Серебряные знаки Совета на полках вспыхнули в ответ, но ни один не смог погасить её. Белые печати на пальцах Аурины треснули тонкими линиями, словно замёрзшее стекло.

Впервые в её глазах появился страх.

— Это невозможно, — прошептала она.

— Нет, Хранительница. Это просто не разрешено.

Алая нить дрожала между нами, и в её свете я увидела не только себя и Аскольда, не только ночь под западной аркой, не только наш грех. Я увидела другое: живая связь не закрывала разрыв жертвой, не прятала рану под печатью, не требовала крови невиновных. Она удерживала края. Болезненно. Непрочно. По-настоящему.

— Вы называли такие связи осквернением, потому что не могли ими управлять, — сказала я. — Теперь я понимаю почему.

Аурена ударила.

Не рукой. Печатью.

Белый свет сорвался с её пальцев и врезался в алую нить. Боль прошла сквозь грудь так, будто меня рассекли от горла

до сердца. Я упала на одно колено, но печать отсрочки не выпустила.

За дверью слышались голоса стражей.

Аурена стояла надо мной, уже снова спокойная, хотя одна из печатей на её пальце потемнела и раскрошилась.

— Ты доказала не силу любви, Элирия. Ты доказала измену.

Я подняла голову.

— Называйте как хотите. Обряд сегодня не состоится.

Её лицо стало совсем пустым.

— Сегодня — нет.

Дверь распахнулась. В хранилище вошли стражи в серых плащах, и запах мокрой шерсти, железа и факельного дыма ворвался в холодную комнату. Копья опустились одновременно.

Аурена не смотрела на них.

Она смотрела на меня.

— Взять её. Живой.

Стражи шагнули ко мне.

Я спрятала печать отсрочки под окровавленными пальцами и впервые не отвела взгляда.

Голос Ворона

Стражи очищения двигались без звука.

Это было хуже, чем топот, хуже, чем боевой клич, хуже, чем скрежет оружия. Живые всегда выдают себя дыханием, страхом, тяжестью шага, шорохом ткани, малым нетерпением.

ем мышц перед ударом. Эти не выдавали ничего. Белые плащи висели на них неподвижно, хотя ветер Зоны Трещины рвал каменную пыль с земли и гнал её по равнине длинными серыми лентами. На лицах стражей светились мёртвые серебряные печати, заменявшие глаза, рот, волю.

Когда-то они были Хранителями.

Я понял это сразу.

Не по плащам, не по знакам, не по старым ритуальным ножам в их руках. По тому, как нити вокруг них были обрезаны. У простого мертвеца связи рвутся беспорядочно, оставляя пустоту, голод, тень прежнего желания. У этих всё было аккуратно. Слишком аккуратно. Каждая личная нить удалена, каждая память вычищена, каждая боль переплавлена в послушание.

Такую работу мог выполнить только Орден.

— Не бей в тело, — сказал я Аскольду. — Тела у них давно не главное.

Он стоял рядом, бледный после узла памяти, с кровью у губы и серебряным отблеском в глазах. Тёмные ленты на его запястьях были порваны, ладонь дрожала, но взгляд держался прямо. В нём было больше усталости, чем силы, и больше упрямства, чем осторожности.

— Куда бить?

— В печать на лице. Если сможешь увидеть разрыв.

Стражи одновременно подняли головы.

Сломанное небо над ними вспыхнуло мёртвым серебром.

Ветер принёс запах озона, старой крови и храмового воска, будто сама равнина вспомнила обряды, которыми её кормили. Под ногами дрогнули алтари. Имена жертв, поднявшиеся из трещин, зашептали тише, словно боялись снова быть использованными.

Первый страж двинулся ко мне.

Его нож был не серебряным, а костяным, выточенным из чего-то слишком гладкого для кости и слишком тёплого для камня. Я отвёл удар чёрной нитью, вытянув её из запястья, и боль сразу отозвалась в плече. Нить Лабиринта не любила Зону Трещины. Здесь всё сопротивлялось всему: память — пустоте, кровь — печати, живое — тому, что уже называли равновесием.

Второй страж ударил Аскольда.

Он успел уйти в сторону, но лезвие рассекло рукав и кожу у предплечья. Кровь выступила яркой линией. Алая связь в его груди вспыхнула так резко, что я ощутил её даже сквозь собственные нити.

Элирия.

На плато что-то произошло.

Печати стражей засияли сильнее.

— Они чувствуют её связь, — сказал я.

— Тогда это можно использовать.

— Или они разорвут тебя через неё.

Аскольд усмехнулся, тяжело, без радости.

— Утешительное уточнение.

Третий страж поднял обе руки. Из его ладоней вырвались белые нити, тонкие и плоские, как лезвия. Они полетели к Аскольду, целясь не в тело, а в грудь, туда, где жила алая связь. Я шагнул наперерез и раскрыл собственный узел.

Лабиринт ответил неохотно.

За моей спиной распахнулась тень, и из неё потянулись чёрные волокна, пахнущие влажным камнем, забытыми именами и холодным пеплом. Они обвили белые лезвия, сдавили, сломали их, но цена пришла мгновенно.

Из меня ушло воспоминание.

Не большое. Не главное.

Сначала я даже не понял, какое.

Потом понял.

Я забыл цвет глаз женщины у алтаря.

Имя её давно исчезло. Голос исчез раньше. Теперь ушёл цвет глаз. Осталось лицо без света, крик без имени, вина без живого центра.

На миг колени подломились.

Аскольд успел подхватить меня за плечо.

— Ворон!

Стражи приближались.

Я заставил себя выпрямиться. Внутри разлилась пустота, знакомая до отвращения, но ещё была боль, значит, ещё было за что держаться.

— Смотри, — прохрипел я. — Печати держат их не снаружи. Разрыв внутри.

Аскольд повернулся к первому стражу.

Его глаза стали серебряными полностью.

Я видел, как дар раскрывался в нём не яростью, а вниманием. Это было редкое качество. Большинство видящих в бою пытались ломать. Аскольд смотрел. Искал не слабость тела, а место, где ложь была пришита к мёртвому.

Первый страж занёс нож.

— Левая сторона лица, — сказал Аскольд. — Под печатью. Там узел.

Я ударил.

Чёрная нить вошла в серебряный знак, разрешила его по указанному месту, и страж остановился. Плащ на нём впервые шевельнулся от ветра. Печать на лице треснула. Из-под неё вырвался не крик, а вздох.

Человеческий.

Страж рассыпался пеплом, оставив на камне маленькую костяную иглу.

Я узнал её форму.

Такими пользовались Хранители второго круга.

— Они добровольно стали этим? — спросил Аскольд.

— Кто-то добровольно. Кого-то убедили, что после смерти долг легче памяти.

Второй и третий стражи бросились одновременно.

Зона Трещины взвыла.

Не метафорой. Мир действительно издал звук, похожий на рвущуюся ткань, усиленную до грома. Обломки стен в

воздухе задрожали, алтари треснули глубже, из разломов поднялся белый свет. Стражи питались им, становились быстрее, их ножи оставляли в воздухе тонкие пустые линии.

Я понял, что без Лабиринта не удержу их.

Это знание пришло спокойно.

Слишком спокойно.

Я положил ладонь на плечо Аскольда и вплёл свою чёрную нить в его тёмные волокна поверх золотых искр. Он вздрогнул, но не отстранился.

— Что ты делаешь?

— Даю тебе время.

— Цена?

— Меньше, чем если ты умрёшь.

— Ворон.

— Не спорь с павшими, мальчик. Мы редко бываем полезны дважды.

Я раскрыл нити шире.

Лабиринт вошёл в меня холодом, шёпотом, тысячей забытых дверей. За моей спиной поднялись тени коридоров, гротов, узлов памяти. Чёрные волокна рванулись вперёд и столкнулись со стражами очищения, связывая их руки, ножи, печати, пустые лица.

Память начала гореть.

Я забыл запах дома после дождя.

Забыл, как звучали шаги учеников в утреннем зале.

Забыл имя старого наставника, который впервые вложил

мне в руки костяную иглу.

Стражи замедлились.

Аскольд увидел разрывы.

— Правый! — крикнул он. — Под горлом!

Я ударил туда.

Один страж рухнул, рассыпаясь серой золой.

— Второй — в груди! Печать под плащом!

Аскольд бросился сам, без силы, без уверенности, с одним только даром и ножом, поднятым с земли. Он не бил наугад. Лезвие вошло точно в место разрыва, и серебряная печать под белым плащом вспыхнула, треснула, погасла.

Последний страж упал на колени.

Перед тем как рассыпаться, он поднял лицо к небу.

Печать на его лице дрогнула, и сквозь неё на миг проступили человеческие черты: старый мужчина, усталые глаза, губы, пытающиеся вспомнить молитву.

— Простите, — прошептал он.

Потом стал пеплом.

Ветер унёс его по равнине.

Я стоял, не чувствуя пальцев.

Аскольд подошёл ко мне.

— Что ты потерял?

Я хотел ответить сразу, легко, насмешкой, как обычно.

Не смог.

Я попытался вспомнить женщину у алтаря.

Лицо было. Крик был. Нож был.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.